



*Георгий Эфрон (Мур), Ирина Лебедева, Ариадна Эфрон,
предположительно 1939 год*

Болшевская дача

Из воспоминаний

Нужно ли рассказывать советскому читателю о том, что такое Тридцать седьмой год? Ответ очевиден. Но есть, пожалуй, смысл рассказать о другом — каким он виделся тогда эмиграции. Как она на него *смотрела*. Если говорить о той эмиграции, которую я немного знал, то — прекрасно смотрела. Советская власть, породившая и выпестовавшая «возвращенство», поставила жёсткие условия перед раскаявшимися грешниками-эмигрантами: хотите вернуться на родину — заслужите прощение, докажите делом, что вы осознали свою вину и готовы на всё, чтобы её искупить.

Как раз в это время НКВД проявляет себя в Париже прямо-таки стахановскими темпами: ликвидация советского разведчика-перебежчика Рейсса-Порецкого; похищение белого генерала Миллера; убийство Рудольфа Клемента, бывшего секретаря Троцкого; охота за сыном Троцкого Львом Седовым, а затем и «медицинское» убийство его; подготовка к убийству самого Троцкого; отправка в Испанию добровольцев из эмигрантов и особенно «обезвреживание» всех тех — в рядах испанских республиканцев, — кто не желал быть простым исполнителем заданий советских «органов».

Едва ли хоть одна из этих успешно проведённых операций обошлась без деятельного участия эмигрантов. Для таких людей, как мой отчим Николай Андреевич Клепинин или друг нашей семьи Серёжа Эфрон, который вошёл в историю в качестве мужа Марины Цветаевой, это время стало звёздным часом. Испанская война, «мокрые дела» под видом «секретных операций» — всё это было для них чем-то вроде «второго Октября», как бы компенсацией за то, что первый-то Октябрь они проглядели и, хуже того — против него воевали. Куда только девался прежний Серёжа, мягкий, добродушно-смешливый говорун! Откуда только взялась, казалось, забытая офицерская выправка! Недоставало ему только френча и португези, когда он у нас на кухне обсуждал достоинства и изъяны того или иного молодого эмигранта, посланного в Мадрид, или комментировал тоном опытного стратега сообщения с испанских фронтов, употребляя со вкусом такие слова, как «передислокация» или «второй эшелон». О конспирации почти забыли: французское правительство Народного фронта, объявившее о своём «невмешательстве» в испанские дела, чувствовало за собой некую вину и старалось не замечать деятельности советских агентов на своей территории.

Между тем на нашей кухне уже гораздо реже говорилось о всемирной собранности и о судьбоносности коммунизма для осуществления «русской идеи», зато много и охотно — о троцкистах, об их происках и несомненных связях с гестапо. Можно было лишь дивиться тому, как моя мама Нина Николаевна, бывшие офицеры Клепинин и Эфрон, бывший дьякон Алексей Эйсер компетентно рассуждали о непримиримых противоречиях между ленинским Третьим и троцкистским Четвёртым Интернационалами. Это — при том, что ни один из них никогда не читал ни строчки Ленина или Троцкого.

Именно в то время была проведена операция по ликвидации — это звучит лучше, чем «убийство», — советского агента-перебежчика Игнатия Рейсса-Порецкого. Большевик со стажем, он написал письмо Сталину, обвиняя его в измене революционным принципам и узурпировании власти. Бегство и письмо были одинаково непростительными поступками, и «компетентным органам» было приказано с Рейссом покончить. Собственно операция была проведена близ Лозанны, в Швейцарии. Есть основания предполагать с большой степенью достоверности, что осуществила её группа агентов, среди которых главную роль исполнял Сергей Эфрон.

Уже сбежав в Советский Союз, Серёжа Эфрон, находясь в узком домашнем кругу, никогда не отрицал своего участия в том, что он называл «швейцарской историей», и упоминал о ней с благодушным удовлетворением. Но его дочь Ариадна Сергеевна, Аля, не переставала отрицать, что её отец мог участвовать в каких-то преступных предприятиях. Она соглашалась с тем, что, находясь в эмиграции, её отец работал на советскую власть, но исключительно в благородной роли бескорыстного носителя и пропагандиста её светлых идеалов. До самой своей смерти в 1975 году она пыталась убедить других — и, что ещё труднее, себя, — что Серёжа (как она его называла) был «мечтателем в крылатом шлеме»,



Сергей Эфрон, предположительно 1939 год

которого ничто низменное, а тем более преступное или кровавое, просто не могло коснуться.

Тут, пожалуй, самое время ответить на вопрос, который мне неизменно задают историки и литературоведы (советские и зарубежные), изучающие биографию Марины Цветаевой, а заодно Сергея Эфрона и клепининского семейства: получали ли все они в эмиграции за верную и беззаветную службу какие-либо субсидии от советских органов разведки? А выражаясь менее изящно — были или нет платными агентами? Причём спрашивающий каждый раз надеется получить от меня отрицательный ответ. Рассуждение очень простое: раз *платный* агент, то — презренный шпион, которого если его хозяева и расстреляли, то по заслугам; а вот *бесплатный* — значит, хороший человек, искренне заблуждавшийся и безвинно пострадавший от сталинских палачей. Мне же сама постановка вопроса представляется, как говорят математики, некорректной. Конечно, получали. Получали деньги от советских спецслужб и чрезвычайно этим гордились: ведь этим как бы подтверждалось, что советская родина простила своих заблудших и раскаявшихся сынов, поручала им деликатные и даже опасные задания и — мало того! — ещё и платила им за честный труд на благо отечества. Можно сказать так: работали не за деньги, но деньги, конечно, получали.

Поставим заодно ещё один «цветаеведческий» вопрос и постараемся на него ответить. Те же специалисты спрашивают: неужели Марина Ивановна могла знать, что её муж Сергей Яковлевич — советский агент? И опять же надеются на отрицательный ответ. Тут даже и отвечать как-то неловко: Марина Ивановна была поэтом, но она не была сумасшедшей. Ну что она могла предполагать о деятельности Серёжи, который нигде официально не служил, изредка помещал статейки в журналах, сроду не плативших никаких гонораров, но каждый месяц приносил домой несколько тысяч франков жалованья? Вернувшись в Россию,

вернее, едва унеся ноги из Франции, где его разыскивала полиция после убийства Рейсса-Порецкого, все жили на бесплатной болшевской даче, и опять же Серёжа, практически не выходя из дому, получал регулярное жалование — до того самого дня, когда его арестовали, чтобы вскоре расстрелять. Не знала — как же! Зачем нам нужна ещё и эта ложь? И что может это «знала — не знала» отнять или прибавить к её творчеству?

Болшевская дача, на которой нас разместили, ранее принадлежала покончившему самоубийством Михаилу Томскому¹. Места в ней хватило на два семейства: наше и Эфронов, то есть Сергея Яковлевича и Али. Марина Ивановна и Мур, её сын и мой товарищ, ещё оставались в Париже, их приезд на «социалистическую родину» состоялся в 1939 году. Мы же, Клепинины, были все вместе: моя мать, отчим и я.

Пока что, в 1938 году, жизнь на болшевской даче протекала странно, хоть и спокойно. Странно — потому, что обитатели её жили безбедно, несмотря на то, что из нас всех только Аля работала в редакции московского журнала «Журналь де Моску» на французском языке. Сам же Серёжа предавался сибаритству, совершенно не свойственному тогдашней советской жизни. Он читал книги, журналы, привозимые Алей из Москвы, объяснял мне систему Станиславского, иногда жаловался на здоровье — не уточняя, что именно у него болело, — и ждал гостей. Гости у нас не так чтобы толпились, однако бывали. Приезжала Серёжина сестра, Елизавета Яковлевна Эфрон, грузная, тяжело дышавшая женщина, с невероят-но красивыми карими, отливающими золотом глазами. Она была режиссёром у знаменитого ттеца Дмитрия Николаевича Журавлёва, который часто её сопровождал и пробовал на нас свои новые работы.

В такие дни, вернее вечера, болшевский дом как бы отключался от внешнего мира, в котором царили страх, доносительство и смерть, и вокруг камина возникала на несколько часов прежняя прекрасная жизнь. Моя мама, обожавшая Толстого, обнаруживала феноменальное знание текста «Войны и мира» (она точно помнила, какие в конце романа Пьер привозит всем домашним подарки из столицы) и хотя бы на один вечер выходила из того состояния подавленного ожидания конца, в котором пребывала едва ли не с первого дня возвращения на

¹ Ошибка Д. Сеземана: дача в посёлке Новый Быт, близ железнодорожной станции Болшево, на которой в 1938–1939 гг. проживали семьи Эфронов и Клепининых, принадлежала до их на неё вселения не высокопоставленному большевистскому функционеру Михаилу Томскому (Ефремову), а советскому чиновнику, сотруднику Наркомата лесной промышленности СССР Борису Краевскому (1888–1938, расстрелян). После ареста Краевского в мае 1937 г. и объявления его «врагом народа» дача была передана «на баланс органов» и впоследствии предоставлена «во временное пользование» их эвакуированной парижской агентуре. Дача, на которой в августе 1936 г. застрелился Михаил Томский, находилась поблизости от дачи Краевского, но дальше в лесном массиве от линии железной дороги, нежели та, на которой жили Эфроны и Клепинины.



Марина Цветаева, 1940 год

родину. Серёжа Эфрон из растерянного пожилого человека превращался в милого, одарённого, интеллигентного мальчика-идеалиста, каким он был когда-то, двадцать с небольшим лет до того. А ведь случалось, что в тот же день, но несколькими часами раньше из Серёжиной комнаты из-за деревянной перегородки вдруг слышались громкие, отчаянные рыдания, и мама бросалась Серёжу успокаивать... Я теперь часто задаю себе вопрос: ну разве могла она чем-нибудь его утешить?

Приезд Марины Ивановны и Мура изменил обстановку в доме. Я-то, конечно, радовался появлению Мура; мне сильно не доставало общения с этим мальчиком, который был моложе меня годами, но взрослее умом, его критического, даже злого взгляда на мир и людей, его остроумных суждений. К тому же он мне привёз свежие ве-

сти из Франции, по которой я успел изрядно истосковаться. А вот появление Марины Ивановны внесло не только в её семью, но и в нашу — так как дача, хоть и просторная, была всё-таки коммунальной — высокий градус напряжённости. Конечно, это можно объяснить тем, что гений образует вокруг себя нечто вроде магнитного поля. Я видел человека, совершенно не приспособленного для общежития в прямом смысле слова, то есть для сосуществования с себе подобными.

Однажды мы сидели в большой общей комнате болшевской дачи. Из чужих был, кажется, Дмитрий Николаевич Журавлёв. Вдруг из кухни выходит Марина, лицо серее обычного, искажено какой-то вселенской мукой. Направляется к маме, останавливается в двух шагах от неё и говорит осипшим от негодования голосом: «Нина! Я всегда знала, что вы ко мне плохо относитесь, но я никогда не думала, что вы меня презираете!» — «Марина, что вы говорите, ну что ещё случилось?» — «То есть как — что?! Вы взяли мою коробку с солью, а обратно поставили не на полку, как я привыкла, а на стол! Как вы могли?!»

Остальная часть вечера прошла в судорожных усилиях всех присутствовавших успокоить Марину, убедить, что её и любят, и чтут. Не принимал участия в этой психодраме один Мур. Он наблюдал за происходящим спокойным взором светлых глаз, не выказывая никаких чувств, даже столь привычной для него насмешливой иронии.

Мать приложила немало усилий, чтобы заставить меня смотреть на Марину Ивановну не как на соседку с трудным характером, а как на поэта: «Она большой поэт. Кто знает, придёт ли тебе когда-нибудь встретить такого». В этой сфере я матери вполне доверял, тем более что были моменты, когда даже не чрезмерно чуткому мальчишке открывалось в Марине Ивановне такое, что решительно отличало её от каждого из нас. Это происходило, когда она читала стихи и на эти чтения нас не только допускала, но даже приглашала.

Она сидела на краю тахты так прямо, как только умели сидеть бывшие воспитанницы пансионов и институтов благородных девиц. Вся она была как бы выполнена в серых тонах — коротко стриженные волосы, лицо, папиросный дым, платье и даже тяжёлые серебряные запястья — всё было серым. Сами стихи меня смущали, слишком были не похожи на те, которые мне нравились и которые мне так часто читала мать. А в верности своего поэтического вкуса я нисколько не сомневался. Но то, как она читала, с каким вызовом или даже отчаянием, производило на меня прямо магическое, завораживающее действие, никогда с тех пор мною не испытанное. Всем своим видом, ни на кого не глядя, она как бы утверждала, что за каждый стих она готова ответить жизнью, потому что каждый стих — во всяком случае, в эти мгновения — был единственным оправданием её жизни. Цветаева читала, как на плахе, хоть это и не идеальная позиция для чтения стихов.

Вот так протекала жизнь в Болшеве, удивительная жизнь, какая-то нереальная; мне она тогда казалась скорее приятной; ведь не мог я знать, что почти для всех жителей злополучной дачи это будет последним отдыхом, последней отсрочкой до «погружения во тьму» — по замечательному выражению Олега Волкова². Потом пришли «славные» чекисты и увели Алё, увели Серёжу, увели Николая Андреевича, увели маму...

Париж
1990

Впервые опубликовано: Сеземан Д. Болшевская дача: Из воспоминаний // Литературная газета (Москва). 1990. № 47. 21 ноября.

Публикация содержит несколько незначительных фактологических ошибок и неточностей. В данном тексте все они или устранены без оговорок, или оставлены, но снабжены примечаниями.

Фотографии взяты из интернета

² Имеется в виду название мемуарной книги советского писателя, многолетнего политзаключённого сталинских времён Олега Волкова (1900–1996): Волков О. Погружение во тьму. Из пережитого. Paris: Atheneum, 1987.